

**Юрий Владимирович Лебедев**

доктор филологических наук, профессор КГУ (Кострома)

## О ВЕРЕ И СОМНЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА

В отличие от многих, Тургенев сохранял до конца дней дар благодатной художественной восприимчивости. Тургенев был человеком сомневающимся, но очень терпимым к верующим людям.

Unlike many, Turgenev remained for the rest of the gift of the grace of artistic sensitivity. Turgenev was a man of doubters, but very tolerant of religious people.

В 1883 году «Общество любителей российской словесности» решило провести специальное заседание, посвящённое памяти Тургенева. Слово о нём должен был произнести Лев Толстой. Речь свою он готовил долго и ответственно. Но когда слух о его выступлении дошёл до Главного управления по делам печати, председателю «Общества» было приказано «под благовидным предлогом» отложить заседание «на неопределённое время». Толстой очень сожалел, что ему не дали говорить. Но главную мысль он изложил в письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г.: «Я ничего не пишу о Тургеневе, потому что слишком многое и всё в одной связи имею сказать о нём. Я и всегда любил его; но только после его смерти только оценил его как следует <...> Главное в нём — это его *правдивость*. По-моему, в каждом произведении словесном (включая и художественное) есть три фактора: 1) кто и какой человек говорит? 2) как? — хорошо или дурно он говорит, и 3) говорит ли он то, что думает, и совершенно то, что думает и чувствует. Различные сочетания этих 3-х факторов определяют для меня все произведения мысли человеческой. Тургенев прекрасный человек (не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек), который хорошо говорит всегда *то самое*, то, что он думает и чувствует. Редко сходятся так благоприятно эти три фактора, и больше нельзя требовать от человека, и потому воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашёл, — всё, что нашёл. Он не употреблял свой талант (уменьше хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю её выворотить наружу. Ему нечего было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь — искусство). Это выражено во многих и многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всём. И это выражено и трогательно, и прелестно в “Довольно”, и 3) не формулированная, как будто нарочно из боязни захватать её (он сам говорит где-то, что сильно и действительно в нём только бессознательное), не формулированная, двигавшая им и в жизни, и в писаниях, вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче, и прелестнее всего в “Дон Кихоте”, где

парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра».<sup>1</sup>

С присущим Толстому мужеством он отвёл здесь от Тургенева собственные упрёки в неискренности и даже признал в нём то качество, которого сам был лишён, — «стыдливость перед ролью проповедника добра». В религиозно-философских трактатах поздний Толстой вступил на путь беспощадной полемики с официальной церковью. Он отрицал божественное происхождение Иисуса Христа. Он сомневался в бессмертии человеческой души. Он произвольно извлекал из четырёх Евангелий лишь заповеди Спасителя, подвергая их весьма вольной трактовке. Фактически он сам отлучил себя от церкви. Святейший Синод постановлением 1901 года лишь подтвердил этот непреложный факт.

Но Толстой-художник никогда не переставал любить жизнь высокой духовной любовью, никогда не подвергал сомнению красоту Божьего мира, видя в ней своё спасение. Не случайно же в письме к Софье Андреевне от 30 сентября 1883 г. он сообщал: «О Тургеневе всё думаю и ужасно люблю его, жалею и всё читаю. Я всё с ним живу» (XIX, 24). И когда он вслед за Тургеневым воспринимал мир глазами художника, влюблённого в жизнь, религиозные умствования забывались или подвергались невольному сомнению. Вот характерное признание его в письме к С. А. Толстой от 6 мая 1898 г., волею судьбы вновь связанное с Тургеневым: «Назад ехал через лес тургеневского Спасского вечерней зарёй: свежая зелень в лесу и под ногами, звёзды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего берёзового листа, звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой бодрое движение лошади, и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно было, что так же хорошо, хотя и по-другому, будет на той стороне смерти <...> Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, — и не мог...» (XIX, 428).

В отличие от многих, Тургенев сохранял до конца дней дар благодатной художественной восприимчивости. Учительный пафос Толстого, Достоевского и других своих собратьев по перу Тургенев не принимал. Он видел в нём претензию на знание абсолютной правды, которая едва ли даётся в руки смертному существу. Тургенев был человеком сомневающимся, но очень терпимым к верующим людям. В письме к Е. Е. Ламберт он сказал: «...да, земное всё прах и тлен — и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру — имеет всё и ничего потерять не может; а кто её не имеет — тот ничего не имеет, — и это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим! Но я ещё не теряю надежды...» (П. IV, 306).

Тургенев считал, что никто не в силах решить вопрос о существовании Бога и бессмертия однозначно и уверенно. К существованию стоящей над людьми могущественной силы он относился с постоянной, никогда не затухавшей внутренней тревогой. Эта тревога была у него источником поэтического восприятия жизни с её обещающей, но ускользающей красотой.

Жизнь не даёт пытливым мысли человека полного удовлетворения. Мир, надвигающийся со всех сторон на слабый огонёк зажжённого людьми костра, не теряет своей поэтической таинственности, бездонной глубины: «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на божьи звёздочки, — что пчёлки роятся!»

Он выставил своё свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились». <sup>2</sup> Окружающая человека ночь с её таинственным безмолвием возносит душу к «тёмному и чистому небу». Оно «торжественно и необъятно высоко» стоит над людьми. Оно духовно раскрепощает человека, очищает его от мелких забот повседневности, тревожит воображение загадочными безднами мироздания. «Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь... Бесчисленные золотые звёзды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...» (С. IV, 107).

Есть в мире такие тайны, на которые можно лишь указать — и пройти мимо... Любые разъяснения только замутят живой источник. Не даются в руки такие тайны смертному человеку. Когда А. И. Герцен, восхищаясь финалом романа «Отцы и дети», написал Тургеневу: «Реквием (Requiem) на конце — с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опасен, ты эдак не дай стрелка в мистицизм», <sup>3</sup> — Тургенев отвечал, что в мистицизм он не ударится, а в отношении к Богу придерживается мнения Фауста:

Кто, на поверку,  
Разум чей  
Сказать осмелится: «Я верю»?  
Чьё существо  
Высокомерно скажет: «Я не верю»?  
В Него  
Создателя всего,  
Опоры  
Всего: меня, тебя, простора  
И Самого Себя?<sup>4</sup>

Острее, чем кто-либо другой, Тургенев чувствовал трагизм бытия, кратковременность и непрочность пребывания человека на этой земле, неумолимость и необратимость стремительного бега исторического времени. Но именно потому Тургенев обладал удивительным талантом бескорыстного, ничем относительным и преходящим не ограниченного художнического созерцания: «Я чувствую себя как бы давно умершим, — сказал он однажды, — как бы принадлежащим к давно минувшему, — существом — но существом, сохранившим живую любовь к Добру и Красоте. Только в этой любви уже нет ничего личного, и я, глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо — так же мало думаю при этом о себе, о возможных

отношениях между этим лицом и мною — как будто бы я был современником Сезостриса, каким-то чудом ещё двигающимся на земле, среди живых. — Возможность пережить в самом себе смерть самого себя — есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот — я умер — и всё-таки жив — и даже, быть может, лучше стал и чище. Чего же ещё?» (П. IV, 184-185).

В романе «Накануне» внезапно заболевает Инсаров. Любящая его Елена никак не может смириться, что это конец, что болезнь неизлечима. «О боже! — думала Елена, — зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слёзы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это всё только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосыгаемых безднах и глубинах, всё, всё нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? <...> Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О боже! неужели нельзя верить чуду?» (С. VIII, 156).

В отличие от Достоевского и Толстого, Тургенев не даёт прямого ответа на этот вечно тревожный для человека вопрос. Он лишь приоткрывает тайну, склонив колени перед обнимающей мир красотой: «О, как тиха и ласкова была ночь, какую голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами!» (С. VIII, 156).

Тургенев не сформулирует крылатую мысль Достоевского: «красота спасёт мир». Но разве все его романы не утверждают веру в преобразующую мир силу красоты, в творчески-созидательную силу искусства? Разве они не рождают надежду на её неуклонное освобождение от власти слепого материального процесса, великую надежду человечества на превращение смертного в бессмертное, временного в вечное? «Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда такою в моей памяти! <...> Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды? Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри? <...> В это мгновенье — ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного <...> Стой! <...> урони в душу мою отблеск твоей вечности!» (С. XII, 195—196).

Искусство и любовь питают тургеневскую веру и надежду. Сначала в литературу, а потом и в жизнь писатель ввёл поэтический образ «тургеневской девушки» — Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны... Тургенев избирает цветущий период в женской судьбе, когда в ожидании избранника встрепенётся девичья душа, проснутся к временному торжеству все дремлющие её возможности. В эти мгновения одухотворённое женское существо излучает такой переизбыток жизненных сил, какой не может получить земного воплощения. Останется лишь заманчивое обещание чего-то более высокого и совершенного, чем материальный мир в его земной юдоли. «Человек на земле — существо

переходное, находящееся в состоянии генетического роста», — утверждает Достоевский. Тургенев молчит. Но напряжённым вниманием к божественным взлётам человеческой души он подтверждает истину этой мысли.

Вместе с образом «тургеневской девушки» входит в сознание читателя образ «тургеневской любви». Как правило, это первая любовь, одухотворённая и целомудренно чистая. Она решительно взрывает будни повседневногo существования: «Первая любовь — та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьётся её яркое знамя, и что бы там впереди её ни ждало — смерть или новая жизнь, — всему она шлёт свой восторженный привет» (С. XI, 87).

Любящий герой прекрасен, духовно окрылён, но чем выше он взлетает на крыльях любви, тем ближе трагическая развязка и — падение. Любовь трагична потому, что перед её стихийной властью беззащитен человек. Своенравная, роковая, неуправляемая, любовь прихотливо распоряжается человеческой судьбой. Никому не дано предугадать, когда это чувство, как вихрь, налетит и подхватит человека на своих могучих крыльях и когда оно эти крылья сложит.

Это чувство трагично ещё и потому, что идеальная мечта, которая окрыляет душу влюблённого человека, не осуществима в пределах земного, природного круга. Тургеневу более чем кому-либо из русских писателей был открыт идеальный смысл любви. Любовь — яркое подтверждение богатых и ещё не реализованных возможностей человека на пути духовного преображения. Свет любви у Тургенева никогда не ограничивался желанием физического обладания. Он был для него путеводной звездой к торжеству красоты и бессмертия. Потому Тургенев так чутко присматривался к духовной сущности первой любви, чистой, огненно-целомудренной. Той любви, которая обещает человеку в своих прекрасных мгновениях торжество над смертью. Того чувства, где временное сливается с вечным в высшем синтезе, невозможном в супружеской жизни и семейной любви. Здесь секрет облагораживающего влияния Тургенева на человеческие сердца.

Здесь же — разгадка вопроса о вере и сомнениях Тургенева. В «Братьях Карамазовых» старец Зосима у Достоевского говорит: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите всё создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах».<sup>5</sup> Там же Алёша Карамазов, обращаясь к брату, замечает: «Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жизнь любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасён» — «<...>А в чём она, вторая твоя половина?» — «В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда не умирали» (XIV, 210). Любовь к этой жизни несёт в себе

веру в бессмертие души. Она неосознанно, инстинктивно питается этой верой.

Герои Достоевского вслед за Тургеневым славословят Бога в Божьем творении. Это путь положительного или *катафатического* богопознания, утверждающего, что весь мир, всё существующее есть некий образ или изображение Божие: «Мы познаём Бога не из Его природы, которая непознаваема и превышает всякую мысль и разум, но из установленного Им порядка всех вещей, который содержит некие образы и подобия Божественных первообразов...»<sup>6</sup> — утверждает Дионисий Ареопагит. Это созерцание в образах первообраза, изображённого в изображениях, *созерцание Бога в мире* станет характерной приметой всей русской литературы. На замечание внука Афоня, что ему всё надоело и ничего не мило, в драме Островского «Грех да беда на кого не живёт» слепой дед Архип отвечает: «Оттого тебе и не мило, что ты сердцем непокоен. А ты гляди чаще да больше на божий мир, а на людей-то меньше смотри; вот тебе на сердце и легче станет. И ночи будешь спать, и сны тебе хорошие будут сниться... Красен, Афоня, красен божий мир! Вот теперь роса будет падать, от всякого цвету дух пойдёт; а там звёздочки зажгутся, а над звёздами, Афоня, наш творец милосердный. Кабы мы получше помнили, что он милосерд, сами были бы милосерднее».<sup>7</sup>

Чтобы сохранить душевную красоту и благородство высших помыслов, чтобы остаться верным духу священных истин, нужно смиряться с земным несовершенством. Сохранить себя в этом мире человек может лишь на путях служения Высшим нравственным законам, требующим отречения от чрезмерных земных упований и надежд. Именно так понимает Тургенев мысль великого творца «Фауста», которую он берёт эпитафией к своей собственной повести «Фауст»: «Entbehren sollst du, sollst entbehren» («Отречься должен ты, отречься!»).

Человек терпимый в своих общественных убеждениях, Тургенев решительно отталкивается от любых завершённых и самодовольных систем. «Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не даётся, которые хотят её за хвост поймать; система — точно хвост правды, но правда как ящерица: оставит хвост в руке — а сама убежит» (П. III, 75). Тургеневское недоверие к общественным доктринам, к философским, политическим и всяческим иным системам порождается ощущением особой их опасности для ищущего, духовно не защищённого русского человека. Считая культурный слой движущей силой общества, призванной учить и просвещать народ, Тургенев питал тревогу по поводу некоторых особенностей нашего интеллигента, «русского европейца». С «лёгкостью в мыслях необыкновенной» он отрекался от предмета вчерашнего поклонения с тем, чтобы спустя некоторое время с такой же лёгкостью отречься от кумира сегодняшнего дня. Отсутствие в просвещённом слое прочных культурно-национальных устоев постоянно угрожало русскому обществу опасностью идейного фанатизма или анархии.

В тургеневском призыве к терпимости, в тургеневском стремлении «снять» противоречия и крайности непримиримых общественных течений проявилась обоснованная тревога писателя за судьбы отечественной культуры. Тургенев не уставал убеждать ревнителей российского радикализма, что новый водворяющийся порядок должен быть не только силой отрицающей, но и силой охранительной, что, нанося удар старому миру, он должен спасти в нём всё, достойное спасения. Тургенева тревожила беспочвенность, пугала безоглядность «прогрессивных» слоёв русской интеллигенции, готовых рабски следовать за каждой новомодной мыслью, легкомысленно отворачиваясь от нажитого исторического опыта, от вековых традиций. «...И отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, — писал он в романе “Дым”, — а как лакей, лупящий кулаком, да ещё, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу» (С. IX, 169). Эту холопскую готовность русской общественности не уважать своих традиций Тургенев заклеил меткой фразой: «Новый барин родился — старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки!» (С. IX, 168).

«В России, в стране всяческого, революционного и религиозного, максимализма, стране самоожжений, стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушкина, *гений меры* и, следовательно, гений культуры, — говорил в 1909 году русский писатель и мыслитель Д. С. Мережковский. — В этом смысле Тургенев, в противоположность великим созидателям и разрушителям, Л. Толстому и Достоевскому, — наш единственный охранитель».<sup>8</sup>

Ныне мы вступаем во времена, которые, по словам православного богослова Павла Евдокимова, позволяют «предвидеть канонизацию учёных, мыслителей или художников, тех, кто отдал жизнь и засвидетельствовал верность харизме Царственного Священства, кто творил ради Царства Божия. Так харизма пророческого творчества устраняет ложную дилемму: Культура или Святость, и предлагает Культуру-Творчество и Святость...».<sup>9</sup> В славной плеяде русских поэтов-пророков лик Тургенева окружён светлым сиянием...

#### Примечания.

<sup>1</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 19. М., 1984. С. 27–28. Далее ссылки на это издание привожу в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>2</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч. Т. 4. М.;Л., 1967. С. 109. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием серии (Сочинения — С, Письма — П), тома и страницы.

<sup>3</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27<sub>1</sub>. М., 1963. С. 217.

<sup>4</sup> Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М., 1976. С. 132.

<sup>5</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 289. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>6</sup> Флоровский Г. В. Восточные Отцы V–VIII веков. Второе издание. М., 1992. С. 104.

<sup>7</sup> Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1976. С. 402.

<sup>8</sup> Мережковский Д. С. Полн. Собр. соч. Т. 18. М., 1914. С. 58.

<sup>9</sup> Евдокимов Павел. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2007. С. 77.